# Под защитой

# Джон Апдайк

За окнами школы весь день падал крупный снег, ложась на асфальт тонким слоем. Уильям, точивший второй карандаш, взглянул на автостоянку, похожую на классную доску, но не черную с белым, а белую с черным, на которой остались ровные дуги от колес легковых машин и два безапелляционных V — будто росчерк школьного автобуса, выезжавшего со стоянки задом. Снег, который валил порой совсем густо, не сровнял их до сих пор. Значит, температура упала не ниже ноля. Из приоткрытой рамы, снизу, от наклоненного стекла в лицо тянуло уличным воздухом, и прозрачный дух заоконной влаги мешался с кедровым запахом карандашной стружки. Затачивая карандаш, Уильям, каждый раз когда приближался к щели костяшками пальцев на десятую дюйма, ощущал дыхание холода и все острее чувствовал свою защищенность.

Небо за снежными вихрями было темное. В классе стоял полумрак, при котором воздух казался плотным, не выпускавшим свет из границы светильников, и шесть их тусклых шаров будто лежали на его клубах. Но от этой угрюмой картины на душе стало весело: у них все укрыты, в тепле, все за надежными стенами; в полумраке цвета одежды показались насыщенней, шепот слышнее, запахи пудры, волос, мокрых башмаков и бумаги — отчетливей, и Уильяма вдруг пронзило чувство, будто всё здесь принадлежит ему. И одноклассники, глупые или умные, симпатичные или не очень, враги или друзья, тоже принадлежат ему. Он прошествовал мимо склоненных голов к своей парте так, как шел бы монарх, который любит подданных больше, чем они его. Право его на это место было освящено традицией: он, Уильям Янг, просидел здесь целых двенадцать лет, между Маршей Уикофф и Энди Циммерманом. Когда-то у них в классе было два Циммермана, но один бросил школу и работал теперь у отца в овощном магазине; в других кабинетах вместо Марши Уикофф рядом сидели Марвин Уолф или Сандра Уэйд, а, например, на латыни или на тригонометрии он оказывался в своем ряду один и тогда смотрел сзади на класс будто бы с козырька скалы; лицо парты с каждым уроком менялось, но сама она оставалась одна и та же, заляпанная чернильными кляксами, и он мог прочесть по ним все прошедшие годы, которые выстраивались цепочкой, выплывая из дырки чернильницы, будто платки у фокусника. В старшей школе он и впрямь стал в классе не то чтобы королем, но любимчиком классного руководителя, который назначил его на все, что мог, и дергал потом за ниточки, а когда явно страдавший слабоумием электорат запутался в двух своих кандидатах, в футбольных кумирах, Уильяму даже достался выборный пост. Его не любили, у него никогда не было девушки, лучшие друзья детства разошлись по командам и «бандам», и, когда, например, осенью они всей школой отправились на ярмарку, отличную, прекрасную ярмарку округа, где пахло землей, осенней листвой и конфетами, он был там сам по себе, и, когда садились в автобус, никто ему не предложил занять место рядом. Однако исключение само по себе есть форма включения, так что он даже получил в классе прозвище «Мяк» — за то, что он заикался. Теперь он не боялся насмешек: проходивший всю жизнь в слабаках, за последнее лето он вырос, окреп, стал похож на родителей, которые у него были оба рослые, шумные; обнаружил, что, надевая рубашку, приходится расстегивать на манжетах пуговицы, и что он легко ловит одной рукой баскетбольный мяч. Так что он сел за свою парту, выставив длинные ноги, перегородив проходы, под шестью тусклыми лунами, за пределами света которых на крышу его замка валился снег, чувствуя себя выше всех во всём, в том числе и по росту, и, едва не дрожа от счастья, подумал, что его не признавали, наверное, только пока он набирался сил, а теперь наконец их достаточно, чтобы самому сделать первый шаг. Теперь, сегодня, он скажет Мэри Лэндис, что он ее любит.

Он влюбился в нее во втором классе на Джуэтт-стрит, по дороге домой, когда она, толстощекая, зеленоглазая проказливая девчонка в веснушках, ловко выдернула у него из рук портфель с клеенчатой подкладкой и дала деру, а он не сумел догнать — у нее ноги оказались проворней. По всем законам он, мальчик, должен был бегать быстрее, и у него от позора волной ожгло поясницу. Она остановилась возле бакалейного магазина, рядом со своим домом, и оглянулась. Ей тоже хотелось, чтобы он ее догнал. Этого унижения он не смог перенести. Горло перехватило, и он, развернувшись, опрометью кинулся домой, ворвался в гостиную, где, как всегда по утрам, сидел с газетой дед и сам с собой разглагольствовал, бросился на пол и зарыдал. Через некоторое время на двери стукнула крышка почтового ящика, звякнул звонок, и он услышал, как Мэри вернула матери портфель, и они шепотом обменялись, наверное, любезностями. Он лежал на ковре в гостиной, обхватив голову руками, и услышал только их голоса. Мать всегда любила Мэри. Любила с тех самых пор, когда та, еще совсем крошкой, выплясывала на руках у старшей сестры, носившей ее на прогулку мимо их изгороди. Мать выделила ее среди всей соседской малышни, где все тогда были милые и одинаковые, как голуби в стайке. Больше он никогда не ходил в школу с этим портфелем, не притронулся к нему ни разу. Наверное, до сих пор так и валяется на чердаке, подумал он, и до сих пор так же пахнет розовенькой клеенкой.

Высоко, прилепившись там под беленым потолком, как вьюрок на стене амбара, зазвенел звонок, возвещавший о двухминутной перемене. Мэри Лэндис, с табличкой дежурной, приколотой к поясу, поднялась со своего места в середине класса. На поясе у нее был красный широкий ремень с медной пряжкой в виде стрелы и лука. Рукава свитера цвета лаванды поддернуты, так что руки было видно по локоть — прием дешевенький, но пикантный. Болтали о ней невесть что, и, может быть, из-за сплетен ее лицо показалось ему на этот раз жестким. Взгляд зеленых, прищуренных глаз будто примораживал к месту. Веснушки поблекли. Уильям понял, что в этом году почти не слышал, как она смеется, впрочем, может быть, потому что они выбрали разные курсы — Мэри секретарский, а он подготовительный для колледжа, — и встречались всего раз в день, на уроке английского языка. Минуту она постояла, заслоненная почти до пояса полосатыми, будто зебра, плечами Джека Стивенса, а потом повернулась и окинула класс таким холодным, скучающим взглядом, будто все ей давно надоели. Великолепная ее осанка только подчеркивала появившуюся теперь угловатость. И тревожную неловкость, которая жила, наверное, в ней всегда, затаившись под детской мягкостью. У нее были четкие скулы, а линия прямого, надменного подбородка казалась при сумрачном свете размытой и будто дрожала. Юбка была как трапеция. Ниже пояса Мэри была худая, ноги, его когда-то обогнавшие, и сейчас были крепкие — в хоккейной команде и в группе поддержки Мэри числилась среди лучших. Но над поясом появился объем, и она, чтобы сохранить равновесие, стояла, прогнувшись назад. Она отвернулась и, двинувшись в выходу, запнулась о выставленную ногу. И холодно смотрела на одноклассника, пока тот ее не убрал. Мэри привыкла к таким знакам внимания. Грудью вперед, она прошествовала к выходу и улыбнулась кому-то, кто был в коридоре, показав свои маленькие белые зубки, до того радостно и тепло, что у Уильяма заныло сердце. Он признается ей сегодня.

Через минуту хрипло зазвенел второй звонок. Уильям шел к своему классу сквозь пропахшую всеми парфюмерными запахами толпу и напевал себе под нос старую песенку — медленно и протяжно, подражая негру певцу, который в этом году вернул ее из небытия:

— Ла-аванда, дилли-дилли,

Синенькие цветы;

Был бы я королем, дилли-дилли,

Королевой бы стала ты.

И, напевая, вдруг почувствовал ликование, которым был полон его день. Он знал все ответы, он всё подготовил, учителя вызывали его, только чтобы поставить в пример. Так было на тригонометрии и на обществоведении. На четвертом уроке, в спортивном зале, где он всю жизнь оставался в хвосте, он, играя в волейбол, чуть ли не перепугал даже своих — так он прыгал там и орал. Мяч в его огромных ладонях теперь казался как перышко. После душа Уильям вышел на ледяной холод с мокрыми, слипшимися волосами, отправился в кафе к Люку и съел там три гамбургера в кабинке вместе с тремя ребятами из класса на год младше. Один из них был Барри Крупман, высокий, пучеглазый мальчишка, приезжавший в школу автобусом из маленького городка Боусвилл, гипнотизер-любитель, который как раз рассказывал очередную байку про бизнесмена из Портленда, штат Орегон, который под гипнозом вспомнил шестнадцать реинкарнаций, включая свое воплощение в виде наложницы верховного жреца Изиды в древнем Египте. Второй был его приятель, Лайонел Гриффин, толстенький симпатяга со светлыми волосами, торчавшими из-за ушей, будто гладкие навощенные крылышки. О нем болтали, будто он педик, и сейчас его тоже больше всего заинтересовал трансвеститский аспект духовной миграции. Третьей была девушка Лайонела, по имени Вирджиния, скучная, непонятная, которая только молча тянула одну за одной сигареты из пачки «Герберт Тайритонз». От ее серой физиономии и унылого взгляда, от того, как взвизгивал Лайонел, толкая ее локтем в бок, Уильяма передернуло. Он с удовольствием бы пересел к одноклассниками, но те его не позвали. Эти же смотрели на него с восхищением.

Уильям спросил:

— А он часом не как Арчи, т-т-т-тараканом не был?

Крупман напрягся, опустил глаза, спрятавшись за своими пушистыми ресницами, а когда снова поднял, то зрачки стали маленькими и холодными, как отверстия у мелкашки.

— Хороший вопрос. Был там один пробел — между тем, как он родился рыцарем при дворе Карла Великого и матросом в Македонии (это там, где теперь Югославия) при Нероне[[1]](#footnote-1), так вот про то время он вспомнил только, что шастал по кабинету и постоянно что-то грыз, так-то вот.

Крупман, прыщавый и остролицый, осклабился, как хорек, а Гриффин радостно взвизгнул.

— Он пытался кусаться и чуть не укусил кого-то из ассистентов, — Крупман заговорил шепотом, до того ненормально серьезно, что Гриффин мгновенно притих, — и они считают, что потом шестьсот лет подряд он рождался волком. Скорее всего, в Германии. И знаете, когда он родился в Македонии, — шепот Крупмана стал почти неразличимым, — он убил женщину.

Гриффин застонал от восторга: «Ну, Крупман! Ну ты даешь!» — и хотел толкнуть локтем Вирджинию в бок, но попал по руке, и она выронила сигарету, которая, кувыркнувшись, полетела на покрытый пластиком стол.

Уильям с тоской посмотрел поверх их голов.

Толпа возле прилавка с содовой к тому времени поредела, так что ему было видно, как открылась дверь, как вошла Мэри и постояла на пороге в нерешительности и как сигаретный дым смешался в дверном проеме с кружившимся снегом. Наверное, из-за дурацкого крупмановского рассказа на ум пришла «волчья погода», и Мэри в дверном проеме показалась серой бесплотной тенью, застигнутой снегом врасплох. Как и была, в шарфе, накинутом на голову, она подошла к Люку, купила пачку сигарет и снова ушла, и пневматический механизм над дверью ей вслед зашипел. Много лет — на самом деле, всю жизнь — она становилась центром компании: и во втором классе, когда вместе возвращались домой по Джуэтт-стрит, и в шестом, когда все ездили на велосипедах до самой каменоломни и до владений Рентшлера, а по субботам играли в «жесткий» футбол, и в девятом, когда она стала ходить с десятиклассниками в Кэндлбридж-парк кататься на роликах, и в одиннадцатом на вечеринках у нее дома, где гости задерживались за полночь, а в воскресенье с утра садились за руль и неслись в Филадельфию и обратно. И всегда у нее был парень — сначала Джек Стивенс, потом Фритц Марч из их класса, потом мальчики классом старше, потом Баррен Лорд, который, когда они были в средней школе, учился в старшей, и о котором, едва начинался футбольный сезон, писали во всех газетах; а в этом году летом она работала в Олтоне официанткой и познакомилась там с кем-то уже совсем взрослым. В выходные она теперь уезжала, и на вечеринках о ней не вспоминали, будто ее и не было, и виделись они только разве что на уроках или в кафе у Люка, куда она заходила за сигаретами. Сейчас плечи ее были опущены, лицо спряталось под шарфом, как под капюшоном, и пальцы перебирали монеты на прилавке под мрамор. Ему захотелось встать, подойти, утешить ее, но он сидел в глубине, в зале, где из кабинок неслись вопли и визг, где с одной стороны слышалось звяканье механического пинбола, а с другой жизнерадостный грохот музыкального автомата. Он рассердился на себя за свое желание. Он любит ее слишком долго, чтобы еще и жалеть — жалость способна разрушить то искреннее благоговение, которое он испытывал перед ней и за которое еще не был вознагражден.

Следующие два часа после обеденного перерыва он провел на латыни и в кабинете самостоятельной подготовки. В кабинете кроме него были еще пятеро старшеклассников, которые играли в крестики-нолики, сосали леденцы от кашля и скучали, а он готовил уроки. Для начала он перевел тридцать строчек из «Энея в Царстве мертвых» Вергилия[[2]](#footnote-2). Неуютный, огромный, с низкими потолками полуподвальный класс вполне можно было сравнить с входом в Тартар. За перегородкой, выкрашенной в цвет сливочной помадки, в столярной мастерской визжала, звенела циркулярная пила, и в конечном ее вопле появлялся странный, даже пугающий призвук — «бзззык!». Потом он решал десять задач по тригонометрии. Продирался сквозь путаные дебри, разрубал узлы, отсекал неверные ответы и находил в длинном, но все же конечном ряду, объединявшем Пространство и Плоскость, нужный квадратик. И в конце концов, когда на старом козырьке над подвалом уже набралось столько снега, что он посыпался вниз, в бетонированные, с решетками ямы, куда выходили окна, прочел рассказ Эдгара Аллана По[[3]](#footnote-3). Осторожно он закрыл последнюю страницу, чувствуя, как в нем приятно звенит финальная нотка страха, и увидел красную, влажную, источавшую запах ментола внутренность рта и губы, обведенные розовой, в комочках помадой — Джуди Уиппл как раз хорошо зевнула, — и от сознания выполненной работы, от снега, падавшего за окном, от того, как медленно ползли здесь, в их убежище, минута за минутой, ему стало тепло и уютно. Потолок, покрытый перфорированной звукоизоляционной плиткой, показался ему входом в длинный тоннель, по которому предстояло идти долго — из старшей школы в колледж, из колледжа в аспирантуру, оттуда снова в колледж, но уже чтобы работать, сначала стажером, потом ассистентом, доцентом, наконец профессором кафедры, который владеет десятком языков и тысячей книг, в сорок лет блистательным, в пятьдесят умудренным, в шестьдесят обрести известность, признание в семьдесят, тогда же уйти на покой и все дни напролет просиживать в кабинете среди книжного безмолвия, до тех самых пор, пока не придет пора для последнего перехода, от одной тишины к другой, когда он умрет, как Теннисон[[4]](#footnote-4), с «Цимбелином»[[5]](#footnote-5) в руке, на постели, залитой лунным сиянием.

Приготовив уроки он должен был идти в кабинет 101, готовить карикатуру для спортивной рубрики школьной стенной газеты. Он больше всего любил школу в такое время — когда из нее почти все разъезжались, когда выметались домой ее другие, бестолковые обитатели, бездельники, деревенщина. Когда в коридоры выходили уборщики разбрасывать по полу похожие на зерна комочки красного воска и собирать потом свой урожай, сметать широкими щетками шпильки, обертки, просыпавшуюся пудру — всё, что набросал за день весь этот зоопарк. Из физкультурного зала, где шла тренировка баскетбольной команды, слышался стук мяча, а на сцене в актовом, за задернутым занавесом, репетировала группа поддержки. В кабинете 101 две машинистки с одинаково обесцвеченными перекисью прядками, украшавшими их пустые головы, стучали на пишущих машинках, время от времени бросая работу, чтобы похихикать или выправить опечатку. Миссис Грегори, спонсор их факультета, устало черкала карандашом, выправляя орфографические ошибки в «Новостях» стенгазеты. Уильям снял с картотечного шкафа трафаретный ящик, взял резцы и маленький пластиковый экран, достал из стенного шкафа трафареты, которые висели там на крючках, будто тоненькие голубые шарфики. Заметка называлась «Баскетболисты кланяются, 57:42». Он нарисовал, как высокий баскетболист кланяется идолу на коротеньких ножках, украшенному буквой «У» в честь победы Уайзертонской школы, после чего тонким резцом перенес рисунок на голубую пластинку. Он чувствовал на костяшках пальцев свое осторожное дыхание. Брови от напряжения сдвинулись, а голова кружилась, и сердце от счастья прыгало в такт с трескотней машинок. Трафаретный ящик был обыкновенной черной коробкой со стеклянной крышкой, которая с одной стороны приподнималась, закреплялась на двух ножках, как самый примитивный каминный экран, и в щель ставилась лампочка в жестяном стакане. Он работал усердно, до рези в глазах, и в конце концов уже будто бы слился со светом, и будто бы уже это он сам светится за наклонным стеклом, над которым двигалась чья-то гигантская тень. Стекло разогрелось, и теперь важно было ни в коем случае не коснуться вспотевшей рукой размягченного воска, чтобы не испортить линию или букву. Иногда к коже прилипали серединки от «о», похожие на голубые конфетти. Но он знал, что делать, и действовал осторожно. Закончив работу, он вернул всё на место, чувствуя себя выше, чем раньше, возвышенный благосклонностью миссис Грегори, которая все это время просидела к нему спиной, давая понять тем самым, что он, в отличие от остальных, заслуживает доверия.

В коридоре у двери в кабинет 101 теперь слышны были только гулкие крики баскетболистов из спортзала, репетиция группы поддержки закончилась. Он всё уже сделал, но уходить не хотелось. Родители оба работали, и дома еще никого не было, а школа была ему тоже как дом. Он знал в ней каждый уголок. В том крыле на втором этаже за кабинетом рисования был неудобный, узкий мужской туалет, которым никто, кажется, никогда не пользовался. Именно в этом туалете Барри Крупман однажды попытался лечить его от заикания гипнозом. Голос Барри тогда звучал вкрадчиво, взгляд выпученных глаз будто бы проникал внутрь, и вдруг радужки и белки у них слились в одно смутное пятно, и Уильям обмяк, прислонился к стенке, но, к счастью, заметил кровянисто-красные уголки и, зацепившись за них сознанием, понял, что едва не отдался во власть человеку, интеллектуально себя ниже, и, может быть, он так и остался заикой, потому что тогда отказался от эксперимента.

Сквозь морозный узор проникал бледный, водянистый свет, падавший на зеленый пол, на фаянсовые писсуары, отчего по бокам на них поблескивали полумесяцы. От этого света и потерявшего прозрачность окна вся комната стала таинственной. Уильям начал мыть руки, преувеличенно тщательно, наслаждаясь той щедростью, с какой предоставлял ему мыльный порошок его замок. Потом он рассматривал в зеркале свое лицо, поворачиваясь и так и этак, ловя каждое изменение, отыскивая самый выгодный ракурс, приложив руки к шее, чтобы сильные, тонкие пальцы тоже попали в картину. Двинувшись к двери, он опять вспомнил песенку и, закрыв глаза, запел так, будто он был тот самый певец-негр и делал запись, от которой зависела вся карьера:

— Кто так сказал, дилли-дилли,

Кто мне это сказал?

Я-а-а так сказал, дилли-дилли,

Я это так и сказал.

Завернув в коридор, он увидел, что там кто-то есть: из дальнего конца, с другой стороны навощенной, сверкавшей паркетной перспективы, навстречу шла Мэри Лэндис в шарфе, накинутом на голову, и с учебниками в руках. Ее шкафчик был в рекреации на втором этаже. Его шкафчик — внизу в подвале. В горле у него защипало. Мэри сдвинула шарф на плечи и самым будничным голосом, который тут же подхватили и понесли безупречные плоскости коридора, сказала:

— Привет, Уилли.

Звук его имени донесся откуда-то издалека, из прошлого, где оба были детьми, отчего он почувствовал себя маленьким и храбрым.

— Привет. Как дела?

— Замечательно. — Губы ее расплылись в улыбке с самого первого слога.

Что он сказал смешного? Неужели же не показалось и она в самом деле ему обрадовалась?

— Н-н-ну, з-закончилась репетиция?

— Закончилась. Слава богу. Она просто кошмар. На каждую фразу нас заставляла строиться дурацким паровозиком, а я и сказала, что сил уже нет, так какой тут задор.

— Ты про м-м-м-мисс Поттер? — Он почувствовал, что, когда он застрял на «мисс», лицо безобразно скривилось, и от этого покраснел. Он всегда почему-то сильней заикался на середине фразы. И с восторгом слушал, как свободно и отчетливо она с гневом произнесла:

— Конечно, про кого же еще? Мужика у нее нет, вот она и срывается на нас. Хоть бы нашла себе кого-нибудь. Честное слово, Уилли, просто хоть бросай и уходи. Скорее бы июнь, и тогда ноги моей здесь больше не будет.

Ее рот, бледный, со стертой помадой, горько скривился. Лицо, на которое он смотрел сверху вниз, стало злым, как у кошки. Он неприятно удивился тому, что бедная мисс Поттер и теплая их, уютная школа могли вызвать такой неподдельный гнев, и это была единственная шероховатость, царапнувшая его в тот день. Как же Мэри не понимает, что учителя тоже люди, со своими страхами, безденежьем, неприятностями, и они тоже устают? Он так давно с ней не беседовал, что забыл, какой она бывает колючей.

— Не нужно бросать, — наконец выдавил он из себя. — Б-б-без т-тебя здесь будет пусто.

Он придержал для нее дверь в конце коридора, и она, проходя под рукой, посмотрела ему в глаза и сказала:

— Даже так? Спасибо, ты очень милый.

Колодец лестницы, с цементными ступеньками и металлическими перилами, пропах резиновыми сапогами. Здесь было уютнее, чем в коридоре, и что-то такое волшебное появилось в движении множества плоскостей, когда они зашагали вниз, что язык освободился и слова полились легко, в такт шагам.

— Нет, правда, — сказал он. — Ты прекрасно выступаешь в команде. Вообще-то ты и сама прекрасная.

— У меня ноги тощие.

— Кто это тебе сказал?

— Кое-кто.

— Вот он-то не слишком милый.

— Не слишком.

— За что ты так ненавидишь бедную старую школу?

— Послушай, Уилли, не притворяйся, ведь тебе это убожество нравится не больше, чем мне.

— Я люблю школу. Мне больно слышать, как ты о ней говоришь, потому что ты можешь уйти, и тогда я больше тебя не увижу.

— Тебе дела до меня нет, не так, что ли?

— Конечно не так, ты и сама это знаешь. — Они уже спустились на нижнюю площадку и встали возле двух грязных батарей отопления перед двойной стеклянной дверью с медными перекладинами. — Я тебя всю жизнь л-люблю.

— Не болтай.

— Ничего я не болтаю. Смешно, конечно, но что есть, то есть. Я весь день собирался сегодня тебе об этом сказать, ну вот и сказал.

Он ожидал, что она рассмеется и тут же уйдет, но щекотливая тема ее неожиданно заинтересовала. Ему следовало бы уже давно понять, что женщины обожают говорить о себе.

— Какая глупость, — неуверенно заявила она.

— Что же тут глупого? — сказал он, окончательно расхрабрившись, сообразив, что хуже уже не будет, но на всякий случай выбирая слова с осторожностью стратега. — Что может быть глупого в том, что кто-то кого-то любит. Глупо, может быть, было столько лет молчать, но я ждал случая.

Он положил учебники на батарею, и она пристроила свои рядом.

— Какого ты ждал случая?

— Сам не знаю.

Теперь ему почти хотелось, чтобы она ушла. Но Мэри прислонилась к стене и явно не торопилась заканчивать разговор.

— Ты была у нас всегда королева, а я никто, так что же я стал бы напрашиваться.

Всё это было довольно скучно, и он не понимал, почему для нее разговор, наоборот, приобрел интерес. Лицо стало задумчивым, посерьезнело, губы поджались, так что Уильям даже поводил у нее перед носом пальцами, пытаясь отвлечь от мыслей, — в конце концов он не высказал ничего стоящего, ничего умного, просто открылся в чувствах, которые, может быть, появились лишь под влиянием матери.

Торопясь скорее закончить разговор, он спросил:

— Ты выйдешь за меня замуж?

— Тебе не нужно жениться, — сказала она. — Тебе нужно идти вперед, у тебя потрясающее будущее.

Довольный, он покраснел: так вот, значит, как она его видит, как они все его видят, пусть сейчас он пустое место, но когда-нибудь станет знаменитостью. Неужели всё то, о чем он мечтает, вот так вот всем понятно?

Он лицемерил, поскромничав:

— Вряд ли. А ты уже сейчас потрясающая. Ты такая красивая, Мэри.

— Ах, Уилли, — сказала она, — побыл бы ты в моей шкуре хотя бы день, тебе стало бы так тошно.

Сказала она это просто, глядя прямо в глаза, и он пожалел, что в ее словах мало горечи. Он промолчал: потайная дверь в знакомом мире замкнутых плоскостей, которую он толкнул случайно, открыла зияющие пространства, и он остановился, парализованный их необъятностью, не зная, о чем говорить. В голову лезли одни только мелочи, неуместная чепуха. Вместо него подала голос батарея, теплая школьная батарея, рядом с которой, по эту сторону залепленной снегом стеклянной двери, было так хорошо и уютно, что он все же решил попытаться, шагнул и хотел обнять Мэри за плечи. Она отступила в сторону и взялась за шарф. Натянула на голову, обмотала концы вокруг шеи, завязала сзади узлом и стала похожа, в своих красных резиновых сапогах, в тяжелом пальто, на крестьянку из какого-нибудь европейского фильма. Лицо, обрамленное шарфом, скрывшим густые волосы, стало бледным, щекастым, и спина с выпиравшим, как горб, узлом согнулась смиренно, когда она забрала под мышку учебники.

— Что-то здесь жарко, — сказала она. — Мне нужно еще подождать кое-кого.

Несвязанность этих двух фраз казалась вполне естественной после всех его не законченных слов. Мэри толкнулась плечом в медную перекладину, дверь открылась; он вышел следом под снег.

— Того, кто сказал, что у тебя тощие ноги?

— Ага.

Когда она подняла глаза, на ресницы упала снежинка. Она дернула головой, потерлась щекой о пальто и топнула, расплескав слякотную кашу. Холодные брызги попали ему на спину, прикрытую одной только тонкой рубашкой. Чтобы не задрожать, он сунул руки в карманы и весь сжался.

— Т-т-так ты выйдешь за меня? — Интуиция мудро подсказала ему, что единственный путь к отходу — это идти напролом, несмотря на всю кажущуюся абсурдность.

— Мы не знаем друг друга, — сказала она.

— Господи! — сказал он. — Как это? Я знаю тебя с двух лет.

— И что же ты обо мне знаешь?

Он во что бы то ни стало хотел разрушить эту ее жуткую серьезность.

— То, что ты уже женщина.

Против его ожидания Мэри не рассмеялась, а побледнела и отвернулась. Это снова была ошибка, как и попытка ее поцеловать, но он был почти благодарен за них судьбе. Ошибки — как верные друзья, пусть из-за них и становится неловко.

— А ты, что ты знаешь обо мне? — спросил он со страхом, ожидая услышать в ответ оскорбление. Он ненавидел себя сейчас за отвратительную, от уха до уха улыбку, которую видел так ясно, будто смотрел не на падавший снег, а в зеркало.

— То, что ты, в сущности, очень славный.

Его обожгло стыдом от того, как она ответила добром на зло.

— Послушай, — сказал он. — Я всегда тебя любил. Давай по крайней мере называть вещи своими именами.

— Ты не любил никого никогда, — сказала она. — Ты даже не знаешь, что это такое.

— О'кей, — сказал он. — Прости, пожалуйста.

— Прощаю.

— Жди лучше в школе, — сказал он. — Он еще н-н-не ск-ко-ро придет.

Она не ответила и пошла походкой, какой часто ходят пенсильванские немки, по-детски выворачивая носки, вдоль черного скользкого троса, разделявшего велосипедную стоянку и спортплощадку. Один велосипед, прислоненный к стойке, с пушистыми белыми полукружиями колес, был настолько ржавый, будто бы простоял там всю жизнь.

Внутри оказалось так жарко, что нечем было дышать. Уильям взял с батареи учебники, пробежался по черным ребрам карандашом и пошел вниз в подвальный этаж к своему шкафчику. Под лестницей было почти темно — стало вдруг неожиданно поздно, и оказалось, пора поторапливаться. Ни с того ни с сего ему вдруг стало страшно — вдруг его сейчас здесь закроют. Уютный запах бумаги, пота и стружек, доносившийся из мастерской в конце коридора, больше не радовал. Высокий зеленый шкафчик осуждающе смотрел на него сверху вниз тройным прищуром прорезей. Уильям отпер замок, положил учебники на свою полку, под полкой Марвина Уолфа, снял с крючка куртку, и ему показалось, будто его пристыженная, некрасивая, знавшая только учебу душонка нырнула на освободившееся место в темном углу. От толчка его лапищи железная дверца легко и беззвучно закрылась, и вдруг он всем своим долговязым телом почувствовал себя таким чистым, таким свободным, что снова улыбнулся. Теперь, отныне и до тех самых пор, пока не наступит уготованное для него прекрасное будущее, он мог ничего — почти ничего — не делать.

1. *Нерон Клавдий Цезарь* (37—68) — римский император с 54 г. Согласно источникам, проводил тираническую политику, связанную с массовыми казнями. Предпринимал гонения на христиан. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Вергилий Марон Публий* (70—19 до н. э.) — выдающийся римский поэт, автор эпической поэмы «Энеида» (29—19 до н. э.). [↑](#footnote-ref-2)
3. *По Эдгар Аллан* (1809—1849) — американский писатель эпохи романтизма, поэт, прозаик, критик. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Теннисон Альфред* (1809—1892) — английский поэт, развивавший традиции романтизма. [↑](#footnote-ref-4)
5. *«Цимбелин»* (1610) — одна из поздних пьес Шекспира. [↑](#footnote-ref-5)